

О Г Л А В Л Е Н И Е

Вступление к русскому изданию	8
<i>Пролог. Отправные точки</i>	13
<i>Глава первая. На заре Европы</i>	21
<i>Глава вторая. На просторах Сарматии</i>	47
<i>Глава третья. В тени Просвещения</i>	77
<i>Глава четвертая. На перекрестке империй</i>	107
<i>Глава пятая. В тисках России</i>	165
<i>Глава шестая. На ландкарте Германии</i>	211
<i>Глава седьмая. В зеркале народов</i>	249
<i>Глава восьмая. В вихрях Европы</i>	287
Список иллюстраций	324
Использованная литература	327
Алфавитный указатель	330

В С Т У П Л Е Н И Е К Р У С С К О М У И З Д А Н И Ю

На берегах реки широкой,
Что лентой синей улеглась,
Как обновленная гробница,
Лежит литовская столица...

Александр Жиркевич. Картинки детства. 1890

Польско-американский поэт Чеслав Милош писал о сизифовой участи повествователя, задумавшего обнажить душу его родного города. Милош провел свои детство и юность в межвоенном Вильнюсе, когда город, в то время называвшийся Вильно, был частью Польши. Поэт навсегда покинул Вильнюс летом 1940 года, в самом начале серии судьбоносных преобразований, которые пережила современная Литва. В период военных перемен дорогой Милошу «сну подобный город» превратился «в лихорадочную вавилонскую башню». Милош предчувствовал отчуждение, и «не только потому, что иной флаг развевался над Замковой горой, изменились названия улиц и язык указателей»¹. В пространстве европейского поля боя Вильнюс был безвозвратно «тонущей льдиной»². До боли знакомый поэту город с каждым днем всё больше походил на призрак. Спустя десятилетия так и не вернувшийся в Вильнюс Милош признался: «Мне видится несправедливость», — парижанин, например, «не обязан возвращать свой город из небытия всякий раз, когда хочет его описать». Нарративная — воображаемая — сила Парижа (или, скажем, Санкт-Петербурга и Москвы) зиждется на богатстве аллюзий, поскольку город «существует в произведениях пера, кисти и резца; даже если бы он исчез с лица земли, его можно было бы воссоздать в воображении».

¹ *Miłosz Cz. Native Realm: A Search for Self-Definition* / transl. by C.S. Leach. Berkeley: Univ. of California Press, 1981. P. 206.

² *Ibid.* P. 207.

И наоборот, каждый раз, когда Вильнюс попадает в поле зрения, его образ истончается до силуэта. Как следствие, мысленно возвращаясь к городскому ландшафту, на фоне которого разворачивалась значительная часть его жизни, Милош «вынужден сгущать» воображение, изобретая «самые что ни на есть утилитарные символы», которых ожидают, «когда всё, от географии и архитектуры до цвета воздуха, должно быть спрессовано в одно предложение»³. Повествование, создающееся вопреки подобному стертому образу, становится прежде всего способом возвращения в город, которому ты представляешься чужестранцем. Кроме того, существует возможность двигаться и в противоположном направлении, повествуя о своем родном городе, как если бы он был неизвестной, далекой землей. Милош использует обе перспективы: он усиливает чувство дистанции, изображая Вильнюс как «город без имени», и в то же время приближается к нему с нарративных берегов необозначенного континента на языке «невывраженного, нерассказанного»⁴. И всё было бы хорошо, заключает поэт, если бы «язык не вводил нас в заблуждение, находя разные имена для одних и тех же вещей в разных временах и пространствах»⁵.

Итак, Вильнюс предлагает больше, чем кажется на первый взгляд, не в последнюю очередь потому, что всегда был местом в поисках собственного отражения. Название города — *Vilnius* — имеет литовские и языческие корни, но в анналах истории оно звучит на разные лады: *Wilno* по-польски, *Wilna* и *Wilda* по-немецки, *Vilna* по-французски, *Вильна* и *Вильно* по-русски, *Вільня* по-белорусски, а также ווילנע (*Вильне*) на идиш. Подобное множество имен приводит к разветвлению городского нарратива во все стороны и вместе с тем позволяет писать о городе без строгой привязки к его географическому местоположению. К тому же Вильнюс всегда был местом встречи и смешения языков, религий и культур. Извилистые улочки и переулки, таинственно пересекающиеся дворы, шпили храмов и завораживающая лепнина — всё рассказывает запутанную историю литовцев, поляков, русских, белорусов, евреев, немцев и татар, которые считали это место своим домом. Таким образом, исследование Вильнюса — это всегда путешествие через границу, посещение незнакомых территорий, культур и языков.

Так случилось, что город Вильнюс был заложен в долине, в месте слияния двух рек в самой холмистой части Литвы, где, согласно языческой космологии, преисподняя встречается с небесами. Поскольку название города произошло от корня, который также лежит и в основе слов *velė* (душа умершего) и *velnias* (черт, дьявол), можно сказать, что оно подразумевает и место перехода в потусторонний мир. Эта аллюзия помогает увидеть в Вильнюсе аллегорию междумирья, где присутствие душ умерших придает форму утратам. В период Ренессанса символом Вильнюса стал св. Христофор, покровитель путешественников и паромщиков, но также и, что довольно любопытно,

³ Ibid. P. 45.

⁴ *Milosz Cz. The Collected Poems, 1931–1987*. L.: Penguin, 1988. P. 184–188.

⁵ Ibid. P. 258.

переплетчиков; им (покровителем) вполне мог бы стать и Орфей, древнегреческий отец песни, который, согласно Страбону, был ловкачом, способным войти живым в мир мертвых, но лишь для того, чтобы вернуться погруженным в скорбь. Мне кажется, что каждый пишущий о Вильнюсе — немного Орфей и немного св. Христофор — переводчик (или паромщик), путешествующий в неизведанное, доставляющий силуэты прошлого к невидимым берегам будущего. Перевод нередко служит страховкой на случай утраты памяти. И все-таки писатель в роли переводчика неизбежно оказывается предателем⁶. Чтобы сделать прошлое видимым, нужно порвать с настоящим.

Современный Вильнюс — это хамелеон, постоянно меняющий свои цвета по требованию обстоятельств. Снабженный длинной и путаной историей сдвигающихся политических границ, город обладает неисчерпаемым нарративным потенциалом контрпамяти. В этом смысле, как и в плане архитектуры, Вильнюс — барочный город, место перехода из видимого в невидимое. Барочное воображение представляет мир как игру света и тьмы, жизни и смерти, отражая, точно в зеркале, перевернутую реальность. В итоге оглядка на Вильнюс оказывается не столько вопросом эстетики, сколько аллегорической необходимостью поиска исторической справедливости. Это делает рассказ о Вильнюсе упражнением в барочной грамматике аллегорий, попыткой, зачастую тщетной, найти форму для выражения забытых смыслов.

Поэт Моисей Кульбак, уроженец города, уподобил Вильню «сну кабалиста» с «тысячей дверей в мир». Для Кульбака, который в 1926 году написал свое стихотворение как личную прощальную песнь городу, идиш был универсальным ключом, открывавшим «празднично повседневные ворота в город». Разнородные, конфликтующие нарративы, однако, всегда «разбредаются и скитаются»⁷, разворачивая городской ландшафт назад в его прошлое. Предпринимая попытку отразить душу Вильнюса, я стремлюсь к тому же, оставляя читателям возможность найти свой путь домой после путешествия по миру. В то же время русский поэт Александр Жиркевич (писавший под псевдонимом Александр Нивин) в своем автобиографическом стихотворении, опубликованном в Санкт-Петербурге в конце XIX века, сравнил Вильню с «обновленной гробницей». Я выбрал эту метафору Жиркевича в качестве эпиграфа к русскому переводу книги, поскольку она емко характеризует нарративную рамку современного Вильнюса.

В культуре барокко телесное следует за воображаемым, провоцируя воспринимать память как отражение невидимого. Это делает исследование нарративной географии города не чем иным, как исчислением потерь. За последнее столетие Вильнюс претерпел множество изменений, приведших к необратимым лингвистическим разрывам внутри главной сюжетной линии города. В 1879 году, например, 40 процентов из 155 тысяч жителей

⁶ Итальянский каламбур: traduttore (переводчик) — traditore (предатель). — *Примеч. пер.*

⁷ *Kulbakas M. Vilnius: poema / red. J. Riškutė. Vilnius: Vaga, 1997. P. 33–35.* На русский язык поэму «Вильнюс» перевел Виталий Асовский.

города называли идиш в качестве родного языка, 30 процентов указывали польский, 20 процентов — русский, 4 процента — белорусский и только 2 процента — литовский. Столетие спустя демографический состав едва ли узнаваем: из полумиллионного населения города около двух третей считают себя литовцами, в то время как русские и поляки составляют примерно по 15 процентов. Менее 0,5 процента жителей — евреи, и среди них только единицы знают идиш. Сухая статистика скрывает жуткие обстоятельства такой лингвистической трансформации: в течение одного десятилетия во время и после Второй мировой войны город потерял примерно девять десятых своего довоенного населения из-за массовых убийств, вынужденных переселений, переездов и эмиграции.

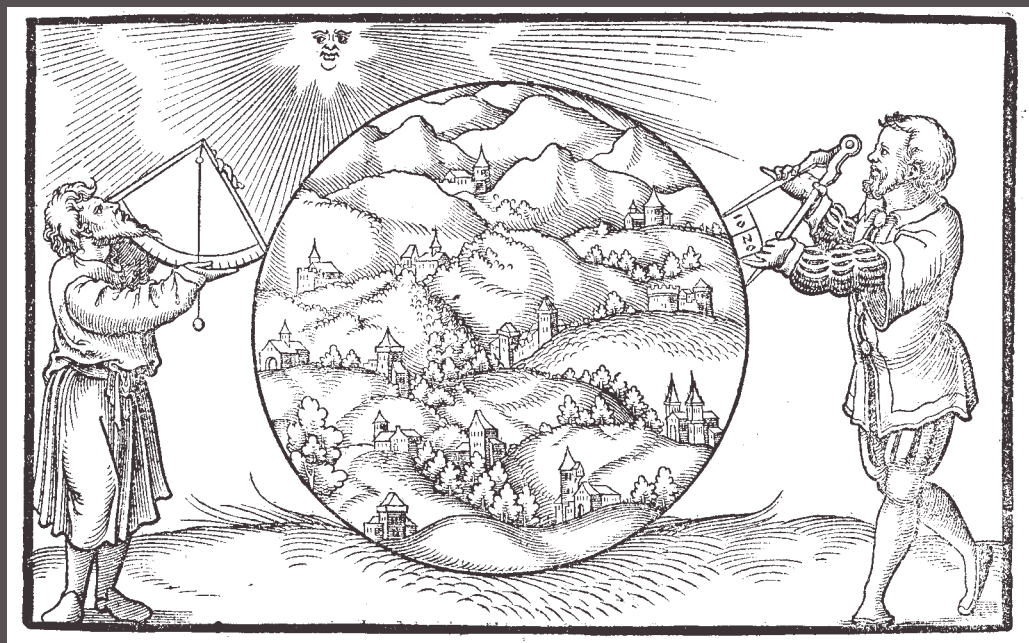
Повествователь-мемуарист подобен Орфею, или, если перефразировать одного из самых знаменитых еврейских писателей Вильны, Хаима Граде, он — странник, бродящий среди надгробий. В послевоенном Вильнюсе, пишет Граде, вернувшийся в родной город по окончании войны, истории Вильны «лежат погребенными — и кричат, в тишине — здесь лежат погребенными все молитвы, произнесенные евреями за сотни лет». И действительно, «вся Вильна является надгробием своим последним евреям, и гои теперь сидят вместо них, как совы посреди руин»⁸. С прозорливостью орфического поэта Граде провидит будущее Вильнюса, где еврейской Вильне будет отведено «пространство даже меньшее, чем надел бедного крестьянина. Каждый маленький городской парк, детская площадка будет казаться больше расчищенного пространства»⁹ местных потерь. Послевоенный Вильнюс стал городом иммигрантов: заезжий репортер *The New York Times* назвал его «плавильным котлом» меньшинств. Со временем литовское меньшинство стало доминирующим большинством.

Вернувшись в Вильнюс спустя полвека после отъезда из Вильно, Милош обнаружил его уже совершенно реконструированным «трупом города» — пятном памяти без единого знакомого лица. После еще нескольких визитов, незадолго до своей смерти, поэт разглядел в этом безликом Вильнюсе контуры неведомого, увеличенные иллюзией реальности, незнакомую территорию, населенную узнаваемыми лицами, чья «география, говорит Сведенборг, не находит места на карте. / Ибо там, кто как был, так и видит. / И даже тут возможно совершить ошибку; скажем, / бродить / не сознавая, что ты уже на другой стороне»¹⁰. Барокко стремится к совершенству, но разворачивается вокруг незаконченного и частичного. По аналогии, мне кажется, рассказывать о Вильнюсе — значит стремиться к прямым линиям, позволяя своим иллюзиям ускользать.

⁸ *Grade Ch. My Mother's Sabbath Days: A Memoir / transl. by Ch. Kleinerman-Goldstein a. I. Hecker Grade. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. P. 382.*

⁹ *Ibid. P. 348.*

¹⁰ *Miłosz Cz. Werki // Second Space: New Poems / transl. by Cz. Miłosz a. R. Haas. N.Y.: HarperCollins, 2004. P. 8.*



1. Титульный лист «La cosmographie
universelle» (1556)

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ

Карта
приколота к стене,
подчеркнуто имя
неоткрытого города,
дороги к нему
обозначены.

Иоганнес Бобровский. Предосторожность¹

В античные времена говорили, что все дороги ведут в Рим, центр имперской цивилизации. Географический смысл выражения был понятен каждому: Рим вечен, как солнце, — его мощь достигает всех окраин ойкумены, и рано или поздно всё на свете пересекается в этой точке мира. С течением веков и по мере распада империи переносный смысл выражения стал преобладать над буквальным. Путь в Рим перестал быть однозначным географическим направлением и превратился в аллегория поиска смысла жизни. В современном мире древнее выражение приобрело иронический оттенок: куда бы ты ни шел, что бы ни делал и ни думал, волей-неволей всё равно достигнешь того же результата. Метафорический диапазон значений идиомы широк — неизбежным результатом, итогом жизни, может быть смерть или заново открытые старые истины, то есть путь в Рим может оказаться дорогой к самому себе.

Во времена христианской и варварской Европы всемирным центром притяжения стал Иерусалим, оборвавший связь истории и забвения. Настоящее ограничивалось пределами библейской географии, а Иерусалим представлял собой эсхатологическую, посмертную вечность. Поэтому путешествие

¹ *Bobrowski J. Shadow Lands: Selected Poems / transl. by R. a. M. Mead. N.Y.: New Directions Books, 1984. P. 192.*

в Святую землю в первую очередь является паломничеством, стремлением к вечной благодати через покаяние. Символически путь в Иерусалим всегда пролегает через внешнюю, автобиографическую исповедь человека; не воплотимую в земной жизни жажду вернуть человеку его утраченную божественную сущность. Однако Иерусалим как обещание рая наделяет смыслом эгоистическую цель пилигрима — искупление личных грехов.

Конечно, в духовном воображении евреев путешествие в Иерусалим — это не покаяние и не исповедь, а возвращение. Свой, но утраченный, знакомый, но невиданный Иерусалим придает картографический смысл еврейской памяти. Это не божественный город, но тело рассеявшегося народа; не душа, а экзистенциальная необходимость. Географическая личность и исторический герой. Дом будущего, построенный на месте утраченного святилища — крепости Божьей, в основании которого — тысячелетнее изгнание еврейского народа. Коротким, но емким выражением — «в будущем году — в восстановленном Иерусалиме» — завершаются большие еврейские праздники Йом-Кипур (Судный день) и Седер Песах (пасхальная трапеза). Так пожелание встречи в Иерусалиме, путешествие в Иерусалим, дающее надежду на возвращение, стало выражением, объединяющим разбросанный народ. Такое путешествие всегда ведет домой, даже если дорога пролегает через чужие края.

В мусульманских странах путешествие в Мекку сочетает в себе христианскую и иудейскую — символическую и физическую — картографию. Каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку — так называемый хадж. Хадж является одним из пяти столпов (принципов) ислама. Для мусульман путешествие в Мекку — это не метафора, не аллегория, не символ и не желание, а исповедание веры. В идеальном случае — это психологическое путешествие, поскольку путь в Мекку, пролегает через самые темные закоулки человеческого сознания. Каждый верующий — будь то мужчина или женщина — обязан отправиться в Мекку точно в последнее свое путешествие и выполнить хадж с чистой совестью, с готовностью к смерти. По возвращении из Мекки паломник обретает новую, истинную сущность, объединяющую его навеки с мировым мусульманским сообществом. Совершивший хадж пилигрим на родине становится своеобразным новоселом: тот же, свой, и вместе с тем — уже другой, человек мира. Можно сказать, что путешествие в Мекку — это некое прощание с собой и собственным прошлым, в награду за которое дается духовная зрелость. По пути в Мекку переступается порог между жизнью и смертью. Это своего рода прижизненное перемещение в просторы вечности.

Моя книга основана на таких краеугольных элементах повествования о путешествии, как утрата, исповедь, возвращение и открытие. Она не является традиционным травелогом, хотя и базируется на различных описаниях путешествий. И цель этого путешествия — город Вильнюс, — вероятно, менее священен и менее известен миру, чем Рим, Иерусалим и Мекка. Однако, возвращаясь



2. «Вильнюс». Фотография Я. Булгака

к метафоре пути, можно сказать, что в современной Европе, полагающейся на абстрактные числа и статистические выводы, все дороги ведут в Вильнюс. В 1989 году ученые из Национального географического института Франции установили координаты центра европейского континента: $54^{\circ}54'$ северной широты, $25^{\circ}19'$ восточной долготы. То есть центр Европы обнаружился на окраине литовской столицы. На этом математическом перекрестке, в двадцати пяти километрах к северу от Вильнюса, пересекаются прямые, прочерченные из крайних точек Европы — с острова Шпицберген на севере, Канарских островов на юге, Азорских на западе и арктического Урала на востоке.

На самом деле Европа — только часть большого геологического массива под названием Евразия. Имя Европы увековечили древние греки, снабдив его привлекательным телом молодой дочери царя Тира. Согласно античному мифу, царевна Европа стала жертвой своей красоты, привлекая внимание олимпийских богов: ее соблазнил и похитил Зевс в облике прекрасного белого быка. Из родной Малой Азии он переправил ее на своей спине по морю на остров Крит. В неволе он обесчестил ее — и лишь затем, точно в искупление или покаяние, нарек царевной Крита. Европе не было суждено вернуться на родину, в Азию; но она долго, под покровительством богов, правила Критом — колыбелью греческой цивилизации.

Миф о соращении земной дочери правителем Олимпа обозначил географическое размежевание между Западом и Востоком: Европа была навеки отделена от своей азиатской колыбели. Размежевание наделило Европу

географической идентичностью — это был край к западу от Малой Азии; а история (или, скорее, определенное ее повторение) снабдила ее картографической действительностью. Со временем Европа обрела свое картографическое тело. Однако, в отсутствие четких физических границ, контур Европы как континента скорее определялся идеей ее цивилизационных особенностей. Нынешняя, привычная для нас карта Европы скорее свидетельствует о мощи культурно-исторической памяти, нежели о каких-либо доисторических природных силах. Таким образом, если Европа — это в первую очередь идея, мысль, порожденная легендой, то ее средоточием является не что иное, как память, преамбула любой исторической карты. Поэтому и поиски центра континента должны начинаться не с измерения географических контуров, а с обозначения его идеи, разметки Европы как повествования.

Европейский нарратив отличается от истории Европы тем, что контуры идеи, как и памяти, размыты и причудливы, а хроника, последовательность дат — всегда однонаправлена, движется только вперед. И все-таки поиски центра, основной повествовательной оси, всегда начинаются с периферии, с учета разветвившихся историй. Центральная точка не может быть установлена безотносительно к окраинам: центр без окраин рассыпается, становится спорным пространством. Безграничное пространство, как и бесконечная история, не может придать центру весомости. Иными словами, граница между центром и окраиной всегда текуча: окраины, точно волны, постоянно бьются о центр и размывают его пределы. Поэтому взаимоотношение середины и окраин никогда не является односторонним, исключительно влиянием центра на окраины.

Центр — конкретное, последовательно обозначенное место, а периферия — многоликое и изменчивое пространство, поскольку она существует лишь на пересечении нескольких повествований, воображений и географических «орбит». В картографии, в отличие от исторических писаний, белые пятна и чудовища² обнаруживаются только на окраинах истории, там, где легенда карты — картографический символ — теряет смысл. Поэтому в географии открытия возможны лишь на окраинах, в то время как в истории возможно лишь возвращение к центру.

Представление о Вильнюсе как картографическом центре неотделимо от окраинной роли этого города в истории Европы. Европа, которая нам знакома, является мифом уже хотя бы потому, что картографически стягивает лишь то, что признаётся своим с исторической точки зрения. Вильнюс отражает этот миф и проявляет его, придавая ему иной резонанс. Конечно, любой из городов Европы обладает собственным голосом, способным несколько смутить единый ритм континента. Однако мелодия Вильнюса вторгается в европейскую полифонию, совершенно не попадая в исторический такт. Поэтому ему всё (еще) никак не удается влиться в основной поток

² Здесь автор отсылает к фразе «here be dragons», которую использовали картографы XVIII века для обозначения далеких, неизведанных (а следовательно, опасных) краев. — *Примеч. пер.*



3. Вильнюс на разных языках: по-немецки Widaw, по-итальянски Vilna, по-литовски Wilenski, по-польски Wilna, по-французски Vilne и на латыни Vilna. Фрагмент карты Литвы, изданной в Венеции в 1696 году

европейского повествования, оставляющий его в стороне, будто географический обломок или осколок истории.

Из-за двусмысленности своего положения — в качестве центра и периферии одновременно — Вильнюс чаще всего воспринимается как переходное, пороговое место. Порог, если перефразировать Вальтера Беньямина, — это не граница и не точка, а зона, где время и пространство начинают пульсировать. Это не место, а состояние или значение, которое «нельзя ни измерить, ни локализовать», а возможно лишь определить как «подвижный слом или раскол под давлением противоположных тенденций»³. Город как пульс или столкновение обозначает не период в хронике и не картографическую дыру, а повествовательный слом, местность, в которой география и история меняются местами.

Как известно, география — это наука о земле, (геометрическое) описание местности; а история, наоборот, берет начало в исчислении времени. Кроме того, картография является составляющей искусства войны, а хроники (пере)создаются в мирные времена. То есть, когда история и география меняются ролями, возникает карта (Вильнюса) как зеркало истории, отражающее то, что находится за пределами топографии. География прошлого.

³ Lachmann R. Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism / transl. by R. Sellars a. A. Wall. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1997. P. 164.

Зеркалом, как и порогом, пользуются мгновение, но это мгновение открывает новые перспективы, невиданные панорамы и неведомые срезы истории. Так прежде не замеченные возможности открылись Яну Булгаку — знаменитому польскому фотографу XX века. Булгак зафиксировал пасторальный ландшафт Вильнюса в контексте не цивилизации и даже не Европы, но современного, современного мировоззрения. Вильно [Wilno], согласно художнику, — вызов черно-белому, то есть фотографическому и потому привычному представлению о взаимоотношении времени и пространства. В зеркальном отражении город является тенью, морем серости, поэтому и встреча с ним оказывается испытанием границ:

Настоящий Вильно остается закрытым и немым для снобов. Имеет ли смысл открываться варварам, охотящимся за сувенирами и несведущим в истинных ценностях? Город открывается не каждому, так как свидетельствует негромко о простых и благородных вещах. Он не выкрикивает, как торговец на базаре, не хвалится своими богатствами — он лишь направляет благосклонно настроенного путешественника. И он прав. Немало пришельцев из дальних стран сумело увидеть настоящий Вильно, и для многих знакомство с городом стало глубоким духовным переживанием. Эти гости оставались верны городу до конца своей жизни, искусно и мудро прославляли его на языках разных искусств. Конечно, бывало здесь и множество равнодушных гостей, покинувших город со злорадной насмешкой. Они увидели только его простоту, недостатки и неудобства, и им уже никогда не узнать, что Вильно — это духовное испытание, проверка на глубину восприятия. Подобное испытание увлекательно для одних, но для других, не столь просветленных, это коварная ловушка.

Вот таков наш Вильно: одни утверждают, что город грязен, беден и убог; другие убеждены, что это очаровательное, исключительное и благородное место. Что мы можем сказать о нем сегодня? С какой стороны должно начать исследование нашего Вильно, глубоко погруженного в долину двух рек, окруженного возвышенной зеленью и возвышающегося изящными башнями соборов, по силуэтам напоминающими спиралевидные тополя старой деревенской усадьбы?

Не станем спешить внутрь города и задержимся на мгновение на его пороге. Вильно располагается среди холмов и предоставляет возможность наслаждаться видами на расстоянии.

Давайте же посмотрим на город издали⁴.

Вильнюс никогда не был городом путешественников и, в отличие от знаменитых центров паломничества — Рима, Иерусалима и Мекки, — не приобрел

⁴ *Bulhak J. Vilniaus peizažas: fotografo kelionės / transl. by S. Žvirgždas. Vilnius: Vaga, 2006. P. 21–23.*

аллегорического измерения. Как следствие, каждый посетитель должен открыть свой Вильнюс, опираясь лишь на собственное зрение и местные нарративы. Конечно, зрение гостей, как и жителей города, обманчиво, поэтому город полон теней, исторических, географических и языковых ловушек. Но подобная топография городского повествования лишь еще больше сближает Вильнюс с Европой, история которой полна белых пятен, искажений, выдумок, слухов и обманов.

Вильнюс в моей истории — это не только топографическое тело, частная карта города. Для меня этот город прежде всего — неизвестный герой повествования. Вторженец в историю Европы. Иными словами, сюжет этой книги — история Европы, прочитанная путем перемещения по извилистым, знакомым улицам города. Это встреча главного героя — Вильнюса — со своим отражением: история города в зеркале Европы. Поэтому в книге, как и в истории, название города изменчиво.

География Вильнюса не способна переписать историю Европы, но, по окончании путешествия и по возвращении домой, перед странником — согласно обратной логике — все пути в Европу открыты. Если бросить взгляд на Европу издали, то есть с вильнюсских холмов, окраины повествования, становится заметно: в истории континента, как в зеркале, отражается то, что осталось за спиной путешественника: *Вильнюс, Вильна, Вильне, Вильнюс...* Полифоничность города, его имени уводит рассказчика в другие пространства, другие города и чужую память. Поэтому и отъезд из Вильнюса есть передел карты Европы, взгляд на свой дом глазами чужака. Моя книга как раз об этом: открытии города на невиданной карте.

DE DESCRIPTION NOVELLE D'EVROPE.



4. «Новая карта Европы». Из «La cosmographie universelle» (1556). Вверху карты — юг Европы; Литва с Ливонией и Пруссией находятся слева внизу, на юго-восточном побережье Маре Germanicum, или Балтийского моря